
Светлой памяти моей матери Евгении Александровны Котс (урожденной Грасман)

Александр Федорович Котс

То было на исходе третьей четверти минувшего столетия, когда среди немецких эмигрантов, устремлявшихся в Россию, в поисках работы, оказался молодой ученый, доктор философии Геттингенского Университета, Альфред Роберт Котс.

Редким сочетанием талантов был отмечен молодой ученый: трое муз стояло некогда у его детской колыбели, наделив его тремя дарами и определив троякое его призвание — Ботаника, Лингвиста и Поэта.

Без рекомендаций и без средств наш молодой ученый приезжает в царскую Россию, уповая только на свои дары, увы! — не слишком ценные и благодарные!

За неимением спроса на поэта и ботаника возможность заработка обещали только знания филолога-лингвиста: место школьного учителя, уроки иностранных языков в провинциальной школе.

Не совсем излишнее оказалась, впрочем, и Ботаника.

Обширные гербарии, попутно собранные молодым учителем в свободное от службы время, привлекли внимание видного профессора в московском Университете, В.А. **Цингера** и обусловили позднее перевод ботаника-учителя в Москву.

Но самым знаменательным для жизни молодого Геттингенца оказалась все же не сухая филология, и не ботаника, а самое нежизненное свиду: поэтическое дарование.

Прелестные по музыкальности, богатству языка и глубине лиризма, не затейливые по сюжету песни и сонеты привлекли **заочное** внимание будущей жены поэта, их **заочное** знакомство и **заочную** помолвку.

Оставим же на время геттингенского ботаника-поэта и переведем наш взгляд на девушку, доверившую свою жизнь безвестному ей автору сонет и песен.

Дочь лесничего, рано осиротевшая, воспитанная у родственников на положении приемыша, не знавшая любви и ласки, молодая девушка сумела рано проявить большую волю и самостоятельность. Семнадцати лет она бросает дом своих опекунов и поступает воспитательницей в дом богатого помещика — **Некрасова**, брата великого поэта, частого гостя в родовом имении.

Получив самое скромное домашнее образование, юная учительница вынуждена была сама готовиться ночами к каждому уроку, чтобы выполнить с достоинством обязанности педагога.

В эту бытность воспитательницей молодая девушка повторно отвергавшая блестящие, заманчивые «партии», не отвечавшие ее ригористическим воззрениям на брак, услышала впервые через третьих лиц о незадолго перед тем приехавшем в Россию молодом поэте и ботанике.

Которому из этих двух призваний удалось пленить воображение и чувство юной пуританки, мы не знаем: дочь лесничего, страстно любившая цветы, она могла откликнуться на зов ботаника, не меньше, чем на зов поэта.

Так, или иначе, но языком цветов, или сонетов, подготовлена была сначала переписка, а затем и жизненная встреча двух людей, предельно разнящихся по характеру.

Там — увлекающийся, пылкий, но безвольный, женственный по складу своего ума поэт-мечтатель и ученый.

Здесь не по годам уверенный «мужской» характер, трезвый ум и непоколебимость воли юной ригористки.

Такова была дисгармоничная по виду пара, так «случайно» встретившаяся на жизненном пути.

Использовать и примирить для жизни эти столь разноречивые черты, объединить их в целостном призвании, творчески посылить закрепить и выявить его во вне, была задача, скромное решение которой выпадет со временем на долю и на счастье их сына.

Но сначала — пара слов о скорбном эпилоге этой нашей небольшой «прелюдии».

Прибыв в Москву с семьей, без всяких средств и без работы, молодой ученый при содействии академических кругов добился вскоре места штатного учителя гимназии.

Жизненный путь казался обеспеченным.. увы! Жизнь улыбнулась только на прощании: жестокая простуда, схваченная в жгуче-ветренный январский день, свела в течение немногих дней в могилу молодого неудачника.

Осталось грустное наследие: обширнее гербарии, альбом стихов, да двое мальчиков: один — двух лет, другой — десяти месяцев, Альфред и Александр.

Старший — весь в отца, с таким же тонким профилем, охваченным густыми копнами каштановых кудрей, всеобщий баловень-любимец...

Младший — «некрасивка», в том полу-эмбриональном возрасте, которым восторгаются одни лишь матери.

К которому из двух малюток перейдет духовное наследие отца? Кому из двух будет дано продолжить борозду, едва лишь начатую им?

Но не об этом думала в ту пору молодая женщина, склоняясь над гробом и в заботе о своих малютках...А другой вопрос: «Куда деваться и чем жить?» — стоял сурово и неумолимо.

Не было средств, ни заработков, ни родных, но было нечто большее: был героизм матери и перед ним склонились внешние преграды жизни.

Непосредственную остроту момента удалось отчасти сгладить тем, что были проданы Петровской С/Х Академией обширные гербарии через посредничество профессора В.А. **Цингера**. Но то была лишь временная помощь и ближайшие три года протекли под знаком жесточайшей бедности, в борьбе за голое существование.

Отец! Не знал я никогда Тебя! И только образ твой, как он, по счастью сохранился на двух карточках, и еще ярче и интимнее в Твоих чудесных, незатейливых стихах роднят меня с Тобой так же волнующе, как если бы мне дано было видать Тебя при жизни.

Вот — одна из них. Несколько строгие черты лица, смягчаемые мягким ртом; волнистые, зачесанные кзади волосы, высокий лоб, прямой, открытый взгляд живых и темных глаз... напрасно стал бы я искать подобия какого либо сходства этих черт со мной. Оно всецело перешло на сына-первенца, моего брата, вскорости последовавшего за отцом.

А вот и образ моей матери, в дни ее юности.

Охваченное копнами густых волос, глядит на вас лицо, ничем не выдающее своего внутреннего мира, если бы не сомкнутые губы, говорящие о строгом и большом характере.

Жизнь подтвердила этот «диагноз», как и по видимому унаследованность этой настойчивости младшим ее сыном.

И, однако, каковы бы ни были эти наследственные свойства, развернуться им дано было лишь помощью целого ряда лиц, позднее встреченных на жизненной пути.

Самые ранние воспоминания мои, помимо тех, что связаны с домашним обиходом и животным миром (правда, лишь игрушечным..) касаются семьи профессора В.А. **Цингера**, известного геометра и знатока Ботаники, на почве каковой и зародилась кратковременная близость этого ученого с моим отцом.

Помню себя в квартире **Цингера**, мальчонком лет пяти, в семье профессора и самого его, высокого уже пожилого с длинной трубкой и в халате.

Привожу эти характерные мелочи лишь потому, что именно знакомство с Цингером могло бы в корне изменить всю мою жизнь.

Дело в том, что дружбе **Цингера** с моим отцом сопутствовала еще большая профессорской жены и моей матери, и после преждевременной кончины первой пожилой вдовец-ученый был не прочь жениться на ее подруге, моей матери.

Казалось бы, что в случае этого брака, будущность моя гораздо легче и бескровнее определилась бы по линии академической: недаром оба сына Цингера позднее проявили себя крупными учеными.

Тем показательнее, что на предложение профессора, столь лестное по виду, моя мать ответила отказом, исходя из опасения, что ее оба мальчика окажутся на положении лишь «пасынков» в чужой семье.

Подсказанный лишь материнскою заботой этот шаг и «вызов жизни» оказался полностью оправдан в будущем, хотя жестокою ценой: отказа от спокойной обеспеченности жизни и ее замены жизнью, полною тревоги и заботы о насущном хлебе.

К этим повседневным внешним хлопотам в борьбе за жизнь присоединялись неусыпные заботы моей матери о моем брате: слабый, узкогрудый, он превосходил меня во всем: и внешне и обилием способностей, не только к языкам, но и различных видов техники, особенно же в рисовании. Но крепостью здоровья брат не мог хвалиться и вся жизнь в нашем доме протекала в постоянном страхе за любимца-первенца. Не то, чтобы я чувствовал это неравное к нам отношение матери, но частые недомогания брата темной тенью опускались на нерадостную без того тихую жизнь скромной маленькой квартирki.

Помнится, как под влиянием подслушанного разговора старших о плохом здоровье брата и о том, что по словам какой то «странницы» он «не жилец», я ночью горячо молился за братишку, не подозревая, что на мою долю выпадет впоследствии содействовать его безвременной кончине.

Заключать отсюда об особой дружбе с братом — было бы неверно. Вспыльчивый в отца, Фредя нередко давал поводы к ребячьим ссорам, при которых большее мое спокойствие давало перевес в том смысле, что упреки, уговоры старших направлялись более на старшего из мальчиков.

При всем различии характеров, две страсти нас объединяли: содержание живых животных, всего чаще птичек, в самодельных клетках и, в особенности, собирание бабочек.

Доселе памятны совместные блуждания с сачком по рощам и лугам бывшего «Зыкова», Петровско-Разумовского, по просекам Сокольников, занятия по сушке, расправлению наших трофеев и определению по немецкой книге, сохранившейся доселе.

Как здесь, так вообще я уступал моему брату, даровитому во многих отношениях особенно способностями к рисованию, незаурядными, как это явствует по сохранившимся доселе у меня перерисовкам бабочек из упомянутого руководства.

Очень знаменательно, что эта далеко незаурядная у нас обоих страсть к животным, к рисованию и коллектированию не сулила закрепиться в нашем будущем призвании. Мешало этому отчасти недостаток средств, отчасти вообще отсутствие в семье людей, могущих уловить в наклонностях обоих мальчиков залог их будущей профессии.

Но главным тормозом являлось все же недостаток средств. Даванием матерью уроков иностранных языков, как и доходами от небольшого дела, обеспечивалась скромная возможность доставления нам домашнего образования до нашего поступления в школу. В частности мы оба с самых ранних лет владели хорошо немецким и французским языком.

Но для оплаты школьного образования заработков не хватало, обстоятельство, заставившее мою мать отдать меня на положение «Бесплатного» ученика в московское немецкое училище Петра и Павла и лишь старшего в Гимназию.

Но этим самым предопределялась будущность обоих братьев, старшего — на базе высшего образования, поскольку поступление в университеты было обеспечено для всех окончивших гимназии, безотносительно к отметкам.

Но не то для младшего. По не совсем понятным ныне для меня мотивам, суждено мне было получить **реальное** образование, а не «классическое», вопреки тому, что в «Петропавловке» имелись Отделения для «классиков» и «реалистов».

Между тем, окончившим это последнее «путевки в жизнь» были довольно ограничены: либо — техническая, инженерная, либо — торговая.

Но первая всецело отпадала за моей феноменальной тупостью математической и, таким образом, единственная открывавшаяся мне дорога в жизнь по окончании средней Школы была деятельность «Коммерсанта».

Такова была угроза, моему призванию в бытность мою «реалистом», мальчиком 11-лет, учащимся второго класса.

Заменить **реальное** образование **классическим**, единственным в ту пору открывавшим двери университета, можно было лишь переведя меня в Гимназию. Но с переводом надлежало торопиться во внимание к различиям программ обеих школ и, в частности, по языку латинскому, этой основе, «квинт-эссенции» классической тогдашней школы.

И поскольку он преподавался с первого же класса, каждый лишний год учения в реальной школе затруднял возможность наверстать упущенное по латыни, а тем самым перевод меня в гимназию.

Для поступления в последнюю мне оставались считанные месяцы и годом позже оно было бы невыполнимым, ибо одолеть приватным образом программу по латыни за два года было бы мне не под силы.

С этим переводом надо было торопиться: либо в разбираемую пору, либо никогда.

Но думать о замене моего бесплатного обучения платным, полагавшемся в Гимназии, было нереально, из-за ограниченности средств у моей матери.

Решение проблемы выпало на долю самой жизни.

Слабый и с склонностью к туберкулезу, брат ранней весной 1891 года заболевает воспалением легких и при том в тяжелой форме, в такой степени, что долгие недели мне не позволялось его видеть, наконец, больной поправился настолько, что мне разрешено свидание с ним.

Помню его лежащим, бледным, похудевшим, с удовольствием внимающим моей ребячьей болтовне.

Не помню, по какому поводу возникло между нами разногласие, нежданно превратившееся в ссору, вздорную, ребячью, много раз случавшуюся раньше.

Но не то на этот раз. Ослабленному организму не под силу было вызванное этим возбуждение. Гнев разрешился плачем, плач перешел в рыдания, в истерику... в испуге бросившись за матерью, я выбежал из комнаты. Живым я брата посла этого уже не видел.

Под влиянием душевного волнения болезнь бросилась на мозг. Два дня мучительной агонии и в бессознании брат умирает, уступивши мне, невольному виновнику его безвременной кончины, место в «жизненном челне».

Доселе сохранилась у меня фотографическая карточка, изображающая нас обоих в лодке, по тогдашней моде, в ателье фотографа на фоне бурного, бушующего моря.

Примитивная по виду, эта карточка полна глубокой и трагической символики, напоминая, что обоим маленьким матросам было тесно в утлом челноке. Стремительным, нежданным шквалом предreshалась гибель старшего из них, и облегченный дорогой ценой, челн жизни устремился по открывшемуся для меня простору.

Но не сразу, и напрасной оказалась бы потеря, если бы не новое и вдумчивое направление челна.

«Да переведите же вы **Шуру**, вместо **Фрединьки**, в Гимназию!» не уставала говорить настойчиво и убежденно моей матери учительница брата, молодая девушка А.Н. Милотворская.

Окончившая незадолго перед тем гимназию, при том одну из тех немногих о ту пору, где преподавалась девушкам Латынь, живая, энергичная, типичный образец передовой тогдашней женской молодежи, Александра Николаевна сыграла роль, решающую в моей жизни, настояв на переводе меня из реального училища в Гимназию, успешно подготовив меня по латыни в пару месяцев.

Не менее существенным и плодотворным оказалось самое общение с этой молодой учительницей.

Впервые в деловую обстановку жизни с повседневным будничным укладом, ворвалась струя идейных помыслов и интересов, зазвучали имена ученых и рассказы о московском университете.

Незаметно заронилось, крепло и росло во мне влечение к этому дотоле неизвестному мне миру, полному какого то большого, смутного и безотчетного в ту пору обаяния.

Доселе, по прошествии семидесяти лет, я помню с поразительной отчетливостью все детали этой столь решающей моей поездки на экзамен во Второй тогдашней Прогимназии, в сопровождении моей матери.

Скромно ютившаяся в невзрачных комнатах жилого дома, она годом позже переехала в просторные хоромы исторического «Грибоедовского» особняка на «Страстной» (ныне Пушкинской) Площади на положении полноклассной 7-ой Гимназии.

Доселе помнится, как справившись легко с латынью (переводом басни о «скворце, бросавшем камушки в бутылку, ради доставания воды») и еще лучше на экзамене по географии (у даровитого географа-историка О.П. Герасимова) я чуть не «срезался» по Арифметике, — увы! всецело обойденной моей скромной «Музой».

Этим поступлением в гимназию был обеспечен мой дальнейший жизненный «фарватер».

При моих довольно заурядных дарованиях во всем, что не касалось Зоологии (отсутствовавшей совершенно в гимназических программах..) я по успеваемости обычно числился в первом десятке моих сверстников по классу. Без труда справляясь с языками, греческим, латинским, страдал хронической бездарностью по математике.

Отсюда неустанные заботы моей матери по подысканию сменявшихся без счета репетиторов для поддержания моей математической «успеваемости» на наинищем уровне, достаточном для перевода из класса в класс.

Весьма характерно, что много позже, именно на выпускном экзамене («Испытании зрелости») я смог решить задачу письменную по Алгебре лишь с помощью «подсказа» моего доброжелателя; «грозы Гимназии», инспектора, и что намерение гимназического совета наградить меня по окончании гимназии «Серебряной медалью» не было поддержано одним лишь математиком, несклонным поощрять «математических тупиц».

Уместно здесь попутно указать, что после первых лет по смерти моего отца, времени крайней бедности, моей маме удалось наладить бытовую жизнь открытием небольшой «конторы по рекомендации служащих», главным образом учительниц и гувернанток. Не потребовав затрат, это основанное ею дело приносило небольшой доход, достаточный не только для поддержки повседневной жизни, но и для содействия моего образования, а позднее — росту и развитию Дарвиновского Музея.

В этом смысле посетители последнего с не меньшей благодарнейшею должны бы вспоминать об этом начинании моей матери, как посещающие галерею Третьякова могут лишь с признательностью связывать ее чудесные картины с нудною продукцией заводов Третьякова, превращенной в дивные холсты Серова, Репина и Левитана.

Говоря о роли и значении моего домашнего образования, нельзя не указать на его крайнее многообразие.

Учили меня иностранный языкам и, строго говоря, то было самое оправданное: кроме языка немецкого, мне столько же родного, как и русский (ибо хорошо владея и последним, моя мама в повседневной жизни говорила и писала по немецки..) в нашей доме не переводились гувернантки, с нами говорившие лишь по французски, языке, которым хорошо владела моя мама.

Несколько позднее речь Рамбле сменилась языком Шекспира, к сожалению, более эпизодично, почему этот язык, важнейший для зоолога, усвоен мною менее совершенно, вопреки тому, что предки моего отца были шотландского происхождения.

Особое внимание обращалось на уроки рисования, сначала, правда, несколько беспланово (ландшафты, птичьи чучела, цветы маслом и акварелью..) и лишь позже посещением дважды в неделю студию извест-

ного в ту пору старого художника-анималиста Н.А. **Мартынова**, бывшего некогда учителя Мензбира и исследователя Туркестана Н.А. **Северцева**.

По прошествии нескольких лет такого обучения, я, не имея дарований брата, смог впоследствии сам иллюстрировать свои научные труды.

Сомнительнее оказалось музыкальное мое образование, всецело по желанию моей матери и без влечения со стороны моей. В известной мере эти многолетние уроки (а достиг я все же некоторых успехов, выполняя на рояли даже ряд классических серьезных пьес, подобных Патетической сонате и произведениям Грига и Шопена..) лишь содействовали чувству ритма устного и письменного слова, страстно помогавшегося мною, так всецело обойденным поэтическим талантом моего отца.

Но возглавляющей за всеми этими заботами о пополнении моего образования стояла неизменная поддержка моего стихийного влечения к науке о животных, к **Зоологии**, сменившей столь же страстную любовь моих родителей к Ботанике.

При всей тогдашней ограниченности заработка моей матери, ей все же удавалось уделять мне скромные средства на покупку мертвых птиц для препаровки, а позднее для оплаты несравненных экспонатов Лоренца.

Именно этим образом, за счет «карманных денег» юноши-подростка были приобретены те замечательные образцы его препаровального искусства, что являются доселе не имеющими себе равных во всем мире. В этом смысле первый приобретенный от **Лоренца** полярный белоснежный кречет, как и ряд последующих экспонатов каждый раз встречались дома «с радостным приветом», как и незатейливое чучело сороки, на моих глазах состряпанное Фельманом и положившее начало маниакальной моей страсти к препараторскому делу.

Равным образом, мое участие на Выставке в зоологическом Саду и получение Серебряных медалей за мою работу было радостно воспринято и моей мамой, много помогавшей в оформлении мною выставленных «экспонатов».

Но, конечно, самым ценным и ответственным в ее заботе о моей «путевке в Жизнь» было снаряжение меня, ученика 7-го Класа, в дальнюю поездку в Зауралье для ознакомления с пернатой фауной Юго-Западной Сибири.

Можно уверенно сказать: не всякая другая мать решилась бы на этот шаг, расстаться добровольно на полгода со своим единственным подростком — сыном, отпустить его в столь дальний, мало-населенный край, в леса и степи, руководствуясь идейной целью: подготовить мальчика к призванию ученого, проверить поддержку и силы молодого энтузиаста на работе полевого практика-натуралиста.

Внешним поводом к избранию именно Сибири было приглашение давних знакомых моей мамы, проживавших в Омске, но намеченным лишь в качестве исходной базы для последующих посещений юге Акмолинской Области и прилегающей Барабинской степи.

В роли помощника и «охранителя» меня сопровождал в поездке молодой служитель в маминой конторе, бывший солдат и страстный молодой охотник, бывший лишь немногим меня старше.

Заключать отсюда, что отпускала меня мама в эту дальнюю поездку с «легким сердцем» было бы несправедливо, как то явствует из писем, достигавших меня в самых дальних уголках Сибири, писем, преисполненных тревогой и заботой о моем благополучии.

В десятках писем неустанно призывала меня мама к величайшей осторожности в общении с людьми, мне незнакомыми в чужом краю.

Сейчас, по миновании шестидесяти с лишним лет, все эти письменные увещания в безупречном почерке лежат передо мной...

Чего только не опасалось сердце моей матери! Тут и предупреждения на случай встречи с ненадежными людьми, или с медведем, или ядовитыми (по слухам!) змеями и в отношении ночевки под открытым небом, и купанья в неизвестном месте, и заканчивалось каждое письмо мольбой о сохранении здоровья и благополучном возвращении.

По скромности размеров денежных посылок (от пяти до двадцати рублей) можно судить о том, как нелегко давалось моей маме субсидирование этой поездки, не смотря на сказочную дешевизну жизни и писания в былой Сибири.

Нежная любовь ко мне переносилась моей матерью и на мои тогдашние пернатые трофеи.

— «Завтра вечером» — писала мне она — «пройду я в Зоосад и попрошу служителей мне показать орла, тобою присланного из Сибири»..

А со следующей почтой мама пишет: «Видела я твоего орла. Он, по словам служителя, сначала вел себя довольно беспокоино, но сейчас он образумился!»

Особую заботу проявляла мама к посылаемым домой итогов моих сборов и к обереганию оставленных в Москве коллекций.

— «Портреты ученых в твоей комнате все сняты со стены во избежание их выцветания; твои книги я предохраняю от пыли, завтра — воскресенье, я свободнее и осмотрю твои шкафы со всеми чучелами, насыпаю нафталину и прикрою занавесками.»

Узнав из моих писем о моем желании побывать несколько севернее, чтобы повидать тайгу и ее фауну, мама пишет:

— «Раз уже ты в Сибири, то, конечно, побывай и в тайге хотя бы это обошлось двадцатью рублями дороже! деньги тебе вышлю! Главное вернись здоровым и довольным научными результатами поездки.»

За все время моего скитания по Сибири в письмах моей матери помимо тревоги о моем здоровье неизменно содержались и заботы об итогах моих сборов и научных наблюдений.

— «Удалось ли тебе добыть белого журавля, достать которого тебе так хотелось?» спрашивала не уставая моя мама, постепенно втягиваясь в мои «птичьи» интересы.

Говорить ли о той радости, с которой моя мать приветствовала возвращение мое в Москву и результаты моих сборов, много позже обнародованных Обществом Испытателей Природы при Московском Университете.

И, как восемью годами раньше отвезен я был моей матерью на вступительный экзамен в прогимназию, так и диплом об окончании средней Школы вручен был моей маме (сам я лето проводил в деревне..) с трогательным пожеланием инспектора С.А. **Радецкого**, чтобы по поступлении моем в московский университет, профессора его меня не меньше полюбили, чем преподаватели гимназии..

Всецело опуская время пребывания моего в высшей Школе приуроченное почти всецело к институту профессора Мензбира, как и скромное участие мое в Саянской экспедиции студентом, предпринятой доцентом П.П. **Сушкиным** нельзя не подчеркнуть заботу, проявлявшуюся моей мамой в отношении сохранности моих коллекций.

Лучшая комната во всех сменявшихся квартирах неизменно отводилась мне и моему «Музею», и, хотя уже в студенческие годы я не мало зарабатывал уроками и переводами ученых диссертаций для покупки Лоренцевских экспонатов, моя мама регулярно соучаствовала в этих приобретениях.

Тем более необходимо подчеркнуть громадное значение для всей моей будущности первой моей поездки за границу, целиком осуществленную (помимо посещения Англии..) на средства моей матери, дело которой к тому времени значительно окрепло.

Но, поскольку о поездке этой мельком уже было упомянуто в предшествующих очерках, достаточно здесь указать, что без поездки этой и ознакомления с плеядой величайших дарвинистов Западной Европы, всего прежде без знакомства с Лондоном, не было бы Дарвиновского Музея, именно поскольку самую идею основания его мне внушила мраморная статуя великого ученого, венчающая входный зал Британского Музея.

Но и в продолжении пяти последующих лет, по окончании московского университета и оставлении меня при нем для подготовке к профессуре, я лишь при поддержке моей мамы мог все свои личные заработки

(ассистентские вознаграждения в университете и на Высших Женских Курсах, заработки, ежегодно достигавшие нескольких тысяч рублей **золотом**, всецело тратить на закупку экспонатов для Музея, ничего не тратя на себя.

Так дело шло, пока не наступил очередной решающий момент моей приватной жизни, а на деле столь же отданный посильному служению науке и ее отображению в Музее, как и все предшествующие года.

— «Следуй только зову сердца!» убеждала меня мама, когда я порой, как будто колебался в выборе спутницы жизни...

И во исполнение этого завета, совпадавшего всецело и с моим, «волнуясь и спеша» вступила в мой дотолем одинокий жизненный челнок другая молодая жизнь, чтобы ныне, по прошествии полвека, оглянуться на совместный путь служения нашей чудесной жизненной науке и ее отображению в нашем Музее.

Около того же времени (весна 1913) наш Музей расширился настолько, что грозил перерасти возможно-сти его дальнейшего развития на базе частного владения.

Тогда же дарвиновский музей был в дарственном порядке передан Московским Высшим женским Курсам на условиях оплаты некоторой задолженности, штатного препаратора при неоплачивании должности заведующего Музеем.

Последовавшая затем моя вторичная поездка за границу для обследования зоомузеев Западной Европы, посещение Германии, Бельгии, Франции и Англии и для закупки требуемых экспонатов при активнейшем участии Н.Н. Ладыгиной-Котс (ныне ученым мирового ранга..) материально широко поддерживалась моей мамой и, как это, так и полное оплачивание ею пребывания нашего в Санатории летом 1917 года, было заключительное, последней материальной помощью со стороны моей мамы нам и Дарвиновскому музею.

Великая наша Октябрьская Революция в корне изменила положение музея. Дело моей мамы было ликвидировано. Сама она переселилась к нам, в квартирку при Музее, не переставая все оставшиеся десять лет, вплоть до ее кончины (1929) посильно помогать в нашей музейной деятельности, то скромно соучаствуя в приеме нас приватно посещавших зарубежных представителей науки на французском и немецком языке, то помогая деятельности наших художников сшиванием холстов для многометровых картин-панно в самые трудные голодные, мерзлые годы послевоенной разрухи.

А когда по воле Наркомпроса в 1919 году доверено мне было управление московским зоосадам, моя мама переехав временно на его территорию, принимала в качестве большой любительницы домашней птицы, самое ближайшее и энергичное участие в производимых мною опытов по скрещиванию разных пород для иллюстрации главнейших правил и закономерностей наследования признаков.

Охватывая многие десятки опытов по скрещиванию различных видов птиц и некоторых Млекопитающих (Фазанов, Уток, Голубей, Гусей), опытов перенесенных позже в стены Дарвиновского Музея обеспечили экспонатуру Дарвиновского Музея по разделам Наследственности и Генетики в объеме и наглядности, равных которым нелегко найти в музеях Западной Европы.

Таким образом, вплоть до последних дней своей серьезной, трудовой, порой подвижнической жизни моя мама неизменно связана была с моим призванием, с **Дарвиновским Музеем**, в зарождении, росте и развитии которого она сыграла столь незримо-незаметную, а в сущности столь «провиденциальную», решающую роль.

Заключение

Да будет мне позволено все оказанное о моей матери и ее жертвенной любви ко мне и делу моей жизни, Дарвиновскому Музею, образно объединить картинкой, опирающейся на реальном, более чем скромном эпизоде.

63 года тому назад. Светлое Майское утро. Подмосковное «Останкино». Чудесные дубовые леса, немолчно оглашаемые пением птиц. И среди них, перекрывая их незримый хор, ликующе-победный посвист Иволги.

Помню себя, 17-ти летним мальчиком-подростком и раскатисто-громовый выстрел моего ружья.

Но тщетно я старался отыскать убитого певца для моего Музея.

Огорченный неудачей поисков, спешу домой, чтобы поведать о случившемся.

Видя, как я расстроен, моя мама тут же вызвалась пройти на место «происшествия».

Пройдя два километра, отделявшие его от нашей дачки, мама после долгих поисков находит иволгу, застрявшую в кустах у самого подножья дерева, в ветвях которого настигла ее смерть.

В этом ничтожном свиду эпизоде отражается, как солнце в капле, беспредельная любовь моей покойной матери ко мне и моему призванию.

С того солнечного утра минуло свыше 60 лет. Но всякий раз, когда мне ныне, на закате моей жизни, выдается бросить взгляд на мною тогда же восстановленный прелестный облик этой иволги с ее чудесным золотистым оперением, я готов в ней усмотреть двоякий символ: символ золотого чувства моей матери, ее любви ко мне и моему призванию, и символ светлых целей и задач моего **Дарвиновского Музея**.